



70 лет
Великой
Победы

Лев Афанасьев

рассказ

48

Война моего отца

Отец умер восемь лет назад на 77-м году жизни. Я проводил его от крылечка дома до машины «скорой помощи», помог донести авоську с пожитками. В салон он забрался сам. Ни он, ни я тогда не знали, что видимся в последний раз. Через неделю отца не стало, скончался на больничной койке. Медсестра проводила нас с братом в конец больничного коридора. Там в полутёмном закуте я увидел его, лежащего на железной каталке под наброшенной простынёй. На запястье на потёртом гайтане повис старинный нагельный крест, довольно массивный. Никогда прежде такого креста у отца я не видел, хотя всегда знал, что он из старообрядцев.

На поминки собрались родственники, соседи. Все что-то говорили, вспоминали. Но из всего сказанного в память врезались слова тёти Тани, младшей сестры отца. Даже не пытаюсь сдер-

живать слёзы, она вспоминала, как в сорок первом провожали Афанасия на фронт.

«На сборном пункте построили их в колонну и повели... А он же мальчишечка совсем, недокормыш, голодно тогда жили... Шея совсем цыплячья, а шинелку выдали на здорового мужика, в ногах путается. И сапоги такие же. Он как обернулся к нам, последний раз уже, когда повели их... улыбка на лице, растерянная такая... Я потом три дня ревя ревел. Какой, думаю, из него вояка? На убой ведь повели!»

Война для отца закончилась в сорок третьем на Курской дуге в результате тяжелейшего ранения. Немцы ночью вслепую из крупнокалиберных миномётов вели обстрел наших позиций. В это время отец стоял на часах возле

командного пункта. Кроме командира полка, в блиндаже находились ещё с десяток офицеров. По смещающемуся вправо характерному вою отец понял: мины вот-вот накроют командный пункт. Но покинуть пост, даже на время обстрела, часовой не имел права. Укрытия поблизости не было, и он инстинктивно отпрянул к деревянному брустверу перед входом в блиндаж. А дальше... звонкий хлопок, и он провалился в пустоту.

Прямое попадание. Немецкая мина залетела в блиндаж через дверной проём, занавешенный брезентовым пологом. Все, кто был внутри, весь командный состав полка погибли. Одно сплошное кровавое месиво. Санитары выносили их по кускам. На отца обратили внимание, когда он пошевелился и застонал.

– А солдатик-то жив как будто?

Солдатик действительно был жив, но нафарширован осколками с головы до пят, плюс – тяжёлая контузия. Мина пролетела в полуметре от его головы.

В полевом госпитале больше всего хлопот хирургам доставила левая нога. Она была разворочена от колена и почти до стопы. В таких случаях конечность попросту ампутируют, но то ли пожалели солдатика (всего-то двадцать один год), то ли имелся запас времени до начала наступательных боёв, ногу решили спасти. Кость была перебита в двух местах. Прежде чем извлечь осколки, врачи вытащили из раны несколько кусков кирзы от сапога, окровавленные ключья портянки и щепки от разбитой деревянной ложки, которую отец таскал за голенищем. А всего из солдатика извлекли около двадцати осколков. Один пришлось оставить: он застрял между нижним краем глаза и носом. Осколок довольно мелкий, но оказался вплотную возле глазного нерва, поэтому любое неточное движение хирурга могло привести к слепоте.

Это было правильное решение. Со временем осколок капсулировался, оброс хрящом, и из-под кожи выступал лишь небольшой бугорок.

Это ранение было третье по счёту.

Рана на ноге не заживала очень долго, гноилась, и приходилось постоянно перевязывать. Отец перевязывал себя сам. Сам стирал бинты, сушил и снова перевязывал. Начал ходить, сначала с костылями, потом с палочкой. Война между тем катилась на запад, и лозунг «Всё – для фронта, всё – для победы!» оставался в силе. Отцу вскоре нашли место в оружейной мастерской. Кажется, где-то под Ярославлем (хотя могу и ошибаться). Десятка два таких же выздоравливающих, инвалидов и просто стариков восстанавливали искорёженное, стрелковое оружие, запчасти для мототехники, лудили солдатские котелки, посуду, делали даже зажигалки и керогазы. Тех, кто выздоравливал, из мастерской отправляли снова на фронт. Отец тоже несколько раз проходил медкомиссию, но, в конце концов, был комиссован подчистую. Как доходяга.

Уже много лет спустя, в 60-х, если отец не приходил вовремя с работы, мама бежала его встречать. Однажды нашла в канаве с перекошенным лицом и безумными глазами. Он её не узнавал, тряс головой. Потом, придя в себя, рассказал, что ступил на левую ногу и не ощутил её, будто мимо ступеньки, в пустоту. Упал, обо что-то ударился и – поплыл! Прохожие, наверное, думали, что он пьян, и топали мимо. Такие приступы повторялись довольно часто, он даже научился их предугадывать и старался где-нибудь пересидеть. Но мама нередко приводила его на телеге или приводила с кем-нибудь из доброхотов, взявши под руки.

Случалось, среди ночи отец вдруг вскакивал с постели, хватал охотничье ружьё, пригоршню патронов и, забывшись в угол, водил стволами по сторонам. Нас это сильно пугало, и после очередного приступа мама стала прятать ружьё куда подальше.

Отцу ещё повезло. Руки, ноги на месте. Голова, хотя и контуженная,

тоже. Мне тогда было, наверное, лет пять-шесть. Однажды мы мастерили с ним бильярдный стол, детский. Отец достал по случаю бильярдные шары, настоящие, хотя и маленькие. И взялся за дело. Я как всегда при нём. В этот момент в окно постучали. Отец пошёл открывать, обратно вернулся с Овчинниковым, обычно он называл его Серёжкой. Серёжка Овчинников, тоже из фронтовиков, инвалид, вечно пьяный. Ездил мимо наших окон на «дамском» велосипеде (без рамы) и всегда грязно ругался. Вслух, сам с собой. Что назад едет, что вперёд.

– Афоня, сукин сын, айда выпьем. Я ведь тебя ещё таким помню... сопля зелёная!

И тыкал рукой в меня. Вернее, не рукой, а зажатой в руке бутылкой водки, уже изрядно початой. Однажды, пока отец с Овчинниковым распивали «Русскую», я невольно приковался глазами к другой руке. Она была какая-то неестественная. Тогда я ещё не понимал, что это протез, а не рука, и удивлённо тараторил. Овчинников вдруг захохотал, сдёрнул с плеча пиджак и, отстегнув, бросил «руку» на стол, перед моим носом. Я потрясённо молчал.

– Небось, отец у тебя так не сможет? Чтобы отстегнуть, а? То-то...

Овчинников неторопливо закатал штанину выше колена и грохнул ногу на табурет. Вместо ноги тоже оказался протез. Железный, страшный. Я шархнулся в угол.

– погоди, малай! Я тебе ещё фокус покажу.

Он раскрыл рот и вдруг вытащил изо рта стальную челюсть. Верхнюю и нижнюю. Поклацал зубами и запихнул обратно. Я был в полном оцепенении. В ужасе. Но этот «фокус» оказался не последним. Овчинников куражливо подмигнул, наклонил над ладонью лицо. И вдруг протянул корявую ладонь ко мне. На ней лежал самый настоящий глаз, а у Овчинникова вместо глаза розовела на лице пустая дырка.

Я, конечно, в рёв, начал размазывать кулаками слёзы, сопли, и отцу

пришлось меня увести. Потом они отравились ещё за бутылкой, но догуливали уже у Овчинникова. На соседней улице.

После войны таких «обрубков» по городам и весям, возле пивнушек, на рынках, на вокзалах мыкалось великое множество. Потом как-то незаметно они исчезли.

Отец о войне рассказывал неохотно. Хотя, бывало, проговаривался, обычно по какому-нибудь поводу. Например, после просмотра ура-патриотического фильма.

«Ничего героического или чего-то романтического там рядом не лежало. Смерть, бестолковщина... подлость – это да. И постоянное чувство голода. Интенданты, сволочи, крали безбожно. Бабу деревенскую, беременную, за три колоска могли запросто к стенке прислонить, или в лагерь... А эти, крысы, в блокадном Ленинграде животы умудрялись нагуливать. Про Москву даже не говорю!..»

Я его тогда спросил: «Если ничего героического не было, откуда у тебя медаль «За отвагу» взялась? Наградили же?»

Он долго молчал. Потом хмыкнул.

– За трусость наградили. За то, что полные штаны со страху наложил.

– Не понял, отец?

Короче, на этот раз я его разговаривал. А история такая... В начале войны он был связистом и однажды получил приказ: обеспечить связь КП (командный пункт) полка с артиллерийским дивизионом, прибывшим на передовую. Расстояние от пункта А до пункта Б, примерно, полтора-два километра. Между ними требовалось протянуть телефонный кабель. Обычно связист вешал за спину тяжеленную катушку с кабелем и – в путь. Катушка разматывалась до пункта назначения, и там концы подключали к аппарату.

Линия обороны в этом месте была сильно изрезана. КП укрывался в лесном массиве, с краю, а через поле в



С картины А.Пластова «Фашист пролетел». 1942

полутора километрах, тоже в лесочке, обосновались артиллеристы.

Едва отец успел одолеть треть расстояния, неизвестно откуда над полем появился немецкий самолёт. Летел на низкой высоте. В начале войны господство немецкой авиации в небе было абсолютным. У нас не было не только самолётов, но и зенитных орудий тоже. Даже винтовки оказались в дефиците, одна на троих. Поэтому немецкие пилоты чувствовали себя вольготно. На лёгких самолётах в одиночку они залетали к нам глубоко в тыл – и охота начиналась. Увидят корову, корову расстреляют. Ребятишки в речке купаются, по ребятишкам лупят. Многие, наверное, видели известную картину художника Аркадия Пластова «Фашист пролетел»? Сюжет тот самый. Их так и называли, эти самолёты – «охотники».

Посреди голого поля немецкий лётчик сразу увидел бегущего солдата с катушкой за плечами и спикировал на

мишень. Пулемётная очередь вспорола стерню буквально в паре шагов. Солдат продолжал бежать. Немец развернулся и пошёл в лоб. Пришлось упасть. На этот раз пулемётная трасса прошла с другой стороны, тоже рядом. Только после третьего захода солдат догадался, что немец попросту забавляется. До леса, хотя и оставалось метров триста, добежать не даст.

Четвёртый заход... Уже по линии огня инстинктивно солдат почувал, это конец и – сделал отчаянную заячью скидку, в сторону, в последний момент. Метров на пять... Пронесло! Пулемётная очередь прошла то место, где он только что стоял. Ещё секунд сорок передышки, пока немец развернётся за лесом и снова пойдёт в атаку. И тут солдат сделал то, чего никак от себя не ожидал. Сбросил шинель, сапоги, шапку... катушка рядом. И разложил так, будто лежит человек, распластавшись. Руки на голове, сапоги из-под шинели

торчат. А сам в гимнастёрке, в брюках, босой рванул в сторону, за куст чертополоха, свернулся в клубок.

Шапку, шинель, сапоги немец превратил в клочья. Разворотил катушку. Сделал ещё круг, чтобы убедиться, и улетел восвояси. В себя солдат пришёл не сразу. Надел оставшиеся лохмотья и двинулся через поле, время от времени соединяя перебитый кабель.

– А эти, с КП, всё видели, как я по полю зайцем прыгал. Наблюдали. Нет, ты мне не говори, – заключил отец, – на войне храбрецов не бывает. Лично я шуку свою спасал.

Про голод... про постоянное чувство голода.

«Я не помню, – вспоминал отец, – чтобы полевая кухня накормила нас горячим обедом. Особенно в первый год войны. Галеты, чёрствый хлеб, каша... – всё! Харчились на марше, кто как мог. Где-то картошки подкопаем, рыбу в прудке гранатой глушанём, свинью грохнем... что ещё? Кладовую подчистим... у своей же старухи, последнее у неё. Падаль ели, грибы. Однажды, зимой дело было, на марше. Куда идём – непонятно. Всё время куда-то идём, никаких боёв. Имитация перемены дислокации или хрен чего ещё – не знаю. Генштабовские заморочки, короче... Но идём. Голодные, злые, и вдруг – на обочине лошадь лежит. Туша мороженная, обстругана со всех сторон. Бляха-муха! Как кинулись на эту тушу, а припахивало от неё, и давай строгать. Я тоже котелок настрогал, с рёбер, что осталось, и... к костерку, сварить чтобы. А соли, кстати, тоже не было. Москва всю соль, видать, потребляла... Вдруг, бах! Старшина пинком, как мяч, котелок зафутболил... И костерок затоптал. «Демаскировка! – орёт. – Под трибунал, суки, пойдёте!»

А мы все на дороге, посреди поля, вся колонна. Бомби – не хочу. Какая, к лешему, демаскировка? Я потом бродил по снегу, собирал и глотал недова-

ренные куски, которые старшина зафутболил. Есть страшно хотелось. Правда, пронесло меня с такой жратвы... медвежья болезнь приключилась».

«Кстати, старшина этот, который котелок зафутболил... терпеть меня почему-то не мог. Сразу возненавидел, с первого взгляда. Ну и изгалялся потом, как хотел. Сейчас это дедовщиной называется. «Я из тебя, говнюк, солдата сделаю!» – орёт. И в зубы. Или пинок под зад. Окопы я долбил за себя и «за того парня». Лес валить, таскать – тоже я. После марш-броска все отдыхают, а меня в часовые. Причём, без смены караула, до утра. А с утра снова марш-бросок, и – опять в караул, к ночи. Я уже на ходу насобачился спать. Не сон, конечно, никакой... так, дремота, но иногда засыпал по-настоящему. Ноги переставляю как попало, и из колонны в сторону, в сторону и – в кювет. То ли пьяный, то ли сомнамбула. А старшина уже тут как тут. По морде – хлесть! «Куда, сволочь?!»

Один раз, зимой дело было, я опять в карауле... мороз трещит, к утру уже. Какой-то сердобольный солдат выходит, из стариков. «Иди, – говорит, – сынок, погрейся. Там, возле печки, место тебе освободил. Я тут за тебя поторчу».

Это сельская школа была, в одном помещении сразу несколько классов занимались, от первого до седьмого. По нескольку ребятишек в классе. Тут же и библиотека. Учительница тоже одна. Посреди помещения, гляжу, печь железная, красная от жару. Ну, я пробрался к печке, отыскал на полу свободное место и – как провалился. Ничего не помню.

Просыпаюсь, кто-то из деревенских за плечо трясёт.

– Ушли, – говорит, – ваши, солдат. Догоняй иди.

– Когда ушли?

– Так утром ещё. А теперь за полдень.

Меня как подкинуло. Команду «подъ-

ём» не услышал! Вскочил, шапку на голову и – бежать. Ладно, на дороге «полуторка» догнала, километров десять проехал. Догоняю свою часть и – в строй. А старшина уже тут, с пеной на губах. И матом меня. Ну, мат я бы пережил, не впервой. И зуботычины тоже. А тут, чувствую, моё дело дрянь. Во-первых, самовольное оставление поста, во-вторых... дезертирство. По закону военного времени – это всё, расстрельная статья. Смотрю, он уже кобуру лапает... Но решил, похоже, видимость правосудия создать. Короче, винтовку велели сдать, руки сзади связали и под конвоем повели вслед за колонной. Шли, шли... зимой рано темнеет. Гляжу, старшина колонну пропустил. Нас останавливает. Подождал, пока хвост за поворотом скроется, и командует:

– Дезертира в расход!

Толкнул меня в сторону, на боковую дорогу. Пошёл, сволочь! А я уже деревянный, ничего не чувствую... Ни рук ни ног. Иду и иду. Вдруг, слышу, окликают. Обернулся, а старшина на дороге лежит, мордой в снег. И один из конвоиров нож об его полушубок вытирает.

– Смотри, корешок, чтобы никому ни полслова. Ничего не видел, ничего не слышал. Усёк?

Затащили они мертвеца в сугроб, снег с ёлки сбили. Чтобы засыпало. До весны хрен найдёшь теперь. А меня со связанными руками под конвоем повели колонну догонять.

Урки бывшие оказались. А старшина – из коммунистов, со стажем. Я так и не понял, и сейчас не понимаю, чего этому коммунисту от меня надо было?.. Чего лютовал?»

* * *

Отец действительно не понял, почему лютовал старшина. Мне кажется, понял я: полная безнаказанная власть одного человека над другим (обычно это происходит в армии) превращает человека или то, что казалось человеком... в скота.

Я понял это, когда отец под рюмку вспомнил (а может, и не забывал) ещё один дикий случай. Тоже была зима, сорок третий год, Сталинград. На правом берегу Волги, где немцы, наши захватили плацдарм и сражались насмерть, сковывая крупные силы противника. Жизнеобеспечение «смертников», иного слова не придумаете, а это пища, боеприпасы, оружие, осуществлялось по ночам. На практике «жизнеобеспечение» выглядело так: грузят на трёх, четырёх... может, пять бойцов, необходимый припас, и ночью через Волгу по льду бойцы переправляют припас на плацдарм и возвращаются обратно. Если повезёт.

Правда, немцы не такие идиоты, как в «17 мгновениях весны». Они сразу поняли, как, в какое время и откуда идёт подпитка. Над Волгой на этом направлении всю ночь висели осветительные ракеты. Это такая специальная ракета с парашютиком. Её выстреливают, и она висит пятнадцать-двадцать минут, в зависимости от потоков воздуха. Волга вся, как на ладони. Любое шевеление – и сразу шквал огня. Поэтому перебраться с берега на берег с грузом – почти смертный приговор. Трупов наших «снабженцев» на этом направлении, на льду, лежало раза в три больше, чем тех, кто закрепился на плацдарме. Но плацдарм был важнее. За ценой тогда, действительно, не стояли.

Выбор уже второй раз пал на отца. На него недели маскхалат, повесили, как рюкзак, двухведёрный термос (суп, щи, борщ?), и группа из пятерых «снабженцев» ступила на лёд. Посоветовавшись, «снабженцы» решили, что пробиваться группой – пустой номер. Накроют всех и сразу. Поэтому решили разойтись на пятьдесят, сто, двести шагов друг от друга и с промежутками во времени пробиваться поодиночке.

Не стану вдаваться в подробности, но отец (всего-то двадцать с небольшим) поступил, мне кажется, разумно. Пополз там, где больше трупов, где можно затеряться, укрыться от огня... и дополз. Но термос оказался простре-

лен в трёх местах. Вся жижа (бульон) вытекла. Текло, вспоминает, прямо по мне, по телу. Но гуща, мясо ребятам достались.

Отдышался, отсиделся и – назад. Слава богу, добрался. Иду докладывать, а мне с ходу – в зубы. (Мордобитие в Сов. армии – дело заурядное.) «Где остальные? Бросил товарищей! Пшёл, гад, ищи!»

И снова на лёд... коленом под зад.

Отец ползал по Волге почти до утра, от трупа к трупу. Хотя в лицо помнил своих «снабженцев» едва-едва. Никого, конечно, не нашёл... расстояния огромные. Когда приполз назад, чуть живой, того, кто послал его на лёд, самого в живых уже не было. «Никто даже не вспомнил, зачем я тут ползаю, вместо того, чтобы делом заниматься!»

«Был момент, – рассказывал отец, – когда я окоченел. Полностью. Я начал завидовать мёртвым. Ждал, просто хотел, чтобы убили. Нарочно подставлялся. По траншее хожу в полный рост, весь на виду. Не в штаны же наложить и не в окоп... Мужики на лопатку и – за борт. Я лезу наверх, справляю нужду посереде поля. Это не кураж, конечно... крыша просто поехала. А чего ей не поехать? Представь: штабель из трупов – сто метров в длину и полтора в высоту. Мороженые. Русские, немцы – вперемешку. Оборонительная линия. Чем окопы в мерзлоте долбить, лучше трупами огородиться. Перестрелка закончилась, привалился к этой «стенке» и – спишь. Или куришь. Можешь на луну повить, если хочется.

Про бестолочь... Это всё то, что исходило от Москвы, с первого и до последнего дня войны. Приказы, инструкции, предписания... похоже, сочинялись под рюмочку «Столичной».

Один из рассказанных отцом эпизодов произвёл на меня ужасное впечатление. Засел, как гвоздь, вколоченный

в голову. Однажды на марше батальон пехоты был расстрелян немецкими штурмовиками буквально за двадцать минут. Появление немецкой эскадрильи в воздухе обнаружили заранее. По колонне прокатился сигнал тревоги: «Воздух!!!» По этой команде обычно все рассыпаются в стороны по укрытиям – в канаву, за дерево, под грузовик... просто залечь. Но вопреки здравому рассудку, прозвучала команда: «Шагом... арш!левой!левой!левой!»

После первой атаки штурмовиков треть батальона была выбита. Солдаты бросились врассыпную, кто куда. Но прозвучала новая команда: «Сомкнуть ряды! Ать, два! Ать, два! Запе-е-вай!» Кто не подчинился, тех ударами приклада, пинками поднимали и возвращали в строй...

Через несколько минут, после нескольких заходов немецкой авиации всё было кончено. Командир батальона, белый, как полотно, сидел на обочине посреди побоища около получаса. Потом достал «ТТ» и выстрелил себе в висок. Это были его команды, это он вопреки здравому смыслу заставлял сомкнуть ряды. Но в батальоне, разумеется, были люди, синие околыши, кто отслеживал неисполнение приказов и докладывал о «неисполнителях» наверх.

Я спросил отца, кто и чего ради такие приказы сочинял? Он ответил просто: «Сначала Москва хотела шапками немцев закидать. А потом (это уже в действующей армии диагноз поставили), когда шапками не получилось, Москва пыталась напугать «ежа голой ж...» Вы, дескать, по нам стреляете, а нам не страшно. Мы вас не боимся».

Во время этой двадцатиминутной бойни отец залез под кучу трупов своих же товарищей и так спасся. Ну... не говнюк ли, а? Вместо того, чтобы сомкнуть ряды и пугать ежа голой задницей...

Сами по себе миномётные расчёты обычно не видят цель, по которой ведётся огонь. Глаза и уши миномётчи-

ков – так называемый корректировщик, который выдвигается на передовую, иногда за километр-полтора от батареи, занимает выгодный наблюдательный пост и по связи передаёт на батарею корректировочные данные.

Что произошло на этот раз, отец так и не понял. Батарея работала около полудня и за это время смешала с землёй всю нашу пехоту, наступающую на высоту. Корректировщика и командира батареи расстреляли на месте, не допросив. Командиры расчётов, все – в штрафбат; батарею расформировали. С отца тогда сорвали сержантские лычки и отправили в пехоту. Но... остались вопросы: кто отдал команду начать наступление, не дожидаясь конца артподготовки? Почему, когда началось наступление, не был отдан приказ о прекращении огня? Ведь связь существовала? Только спустя полчаса, когда всё было кончено, началось, как у нас это принято, «наказание невиновных и награждение непричастных».

* * *

С войны отец вернулся в двадцать два года, на костыле. Через неделю его вызвали в военкомат. В кабинете военкома сидел какой-то человек в штатском и долго буровил солдата глазами, не предлагая сесть. Оказалось, из НКВД. После дежурных вопросов предложил сотрудничество: докладывать обстановку, кто какие разговоры ведёт, выявлять подозрительных личностей и т. д. Солдат тоскливо молчал, смотрел в сторону. Какие такие личности?

Все мужики на фронте, на многих уже похорожки пришли. Остались старики со старухами, да бабы с ребяёнками. И городишко-то... север Кировской области, кругом тайга, всё население семнадцать тысяч, и то до войны.

Он покачал головой.

– Не на кого тут... стучать.

Гэбист закатал на скулах желваками.

– Ты, сучонок недобитый... Я тебя завтра же на фронт отправлю. Понял? Пшёл вон!

Обошлось, однако. Потом отец вспоминал: «Это только мне казалось, что стучать не на кого, что подозрительных личностей нет, никто антипропагандой не занимается и заговоры не устраивает. В НКВД думали иначе... у них там план, машина должна работать. Вот смотри...» И отец начал загибать пальцы, пересчитывая соседей, дом за домом, подворье за подворьем до конца улицы: кто в какой семье по какой статье сидел. Или ещё сидит. Городишко небольшой, все друг про друга всё знают. Оказалось, в каждой второй семье кто-нибудь да сидел. Дед, сват, брат... сын, отец. А улица, словно в насмешку, называлась улицей Свободы.

На этой улице я вырос. Долгое время отсылал своим старикам письма по адресу: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, дом 81. Сейчас дом стоит пустой. Но на обшиве осталась красная деревянная звёздочка. Она означала, что здесь живёт (жил) ветеран ВОВ.

Надо же такую аббревиатуру придумать!